

Василий Иванович Немирович-Данченко

Пир в ауле

(Очерки жизни и войны в Дагестане. Часть #1)

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»). Из них особое внимание обратили на себя «Соловки», как заманчивое, крайне идеализированное изображение своеобразной религиозно-промышленной общины. Позже Немирович-Данченко, ведя жизнь туриста, издал целый ряд путевых очерков, посвященных как отдельным местностям России («Даль» — поездка по югу, «В гостях» — поездка по Кавказу, «Крестьянское царство» — описание своеобразного быта Валаама,



«Кама и Урал»), так и иностранным государствам («По Германии и Голландии», «Очерки Испании» и др.). Во всех этих очерках он является увлекательным рассказчиком, дающим блестящие описания природы и яркие характеристики нравов. Всего более способствовали известности Немировича-Данченко его хотя и не всегда точные, но колоритные корреспонденции, которые он посылал в «Новое Время» с театра войны

1877 — 78 годов (отд. изд. в переработанном виде, с восстановлением выброшенных военной цензурой мест, под заглавием «Год войны»). Очень читались также его часто смелообличительные корреспонденции из Маньчжурии в японскую войну 1904–1905 годов, печат. в «Русском Слове». Немирович-Данченко принимал личное участие в делах на Шипке и под Плевной, в зимнем переходе через Балканы и получил солдатский Георгиевский крест. Военные впечатления турецкой кампании дали Немировичу-Данченко материал для биографии Скобелева и для романов: «Гроза» (1880), «Плевна и Шипка» (1881), «Вперед» (1883). Эти романы, как и позднейшие романы и очерки: «Цари биржи» (1886), «Кулисы» (1886), «Монах» (1889), «Семья богатырей» (1890), «Под звон колоколов» (1896), «Волчья съть» (1897), «Братские могилы» (1907), «Бодрые, смелые, сильные. Из летописей освободительного движения» (1907), «Вечная память! Из летописей освободительного движения» (1907) и др. — отличаются интересной фабулой, блеском изложения, но пылкое воображение иногда приводит автора к рискованным эффектам и недостаточному правдоподобию. Гораздо выдержаннее в художественном отношении мелкие рассказы Немировича-Данченко из народного и военного быта, вышедшие отдельными сборниками: «Незаметные герои» (1889), «Святочные рассказы» (1890) и др.; они правдивы и задушевные. Его эффектные по фактуре стихотворения изданы отдельно в Санкт-Петербурге (1882 и 1902). Многие произведения Немировича-Данченко переведены на разные европейские языки. «Избранные стихотворения» Немировича-Данченко изданы московским комитетом грамотности (1895) для народного чтения. В 1911 г. товариществом «Просвещение» предпринято издание сочинений Немировича-Данченко (вышло 16 т.). Часть его сочинений дана в виде приложения к журналу

«Природы и Люди».

Василий Иванович многие годы путешествовал. В годы русско-турецкой, русско-японской и 1-й мировой войн работал военным корреспондентом. Награжден Георгиевским крестом за личное участие в боях под Плевной. Эмигрировал в 1921 году. Умер в Чехословакии.

**Василий Иванович
Немирович-Данченко
Пир в ауле**

Солнце закатывалось за отдалённые утёсы Аварских гор и зажигало алтари на Шаг-Даге на Дервиш-Баире и Шайтан-Олсу. Ещё несколько мгновений, и их облило густым румянцем заката, точно по скалистым отвесам заструилась жертвенная кровь. Аулы пропали в золотистом море, наводнившем в этот торжественный час всё кругом. Скоро в потемневшей на востоке синеве вспыхнула звезда на челе ангела, полагающего конец утомлённому дню. И в это мгновение со всех скал и утёсов, отовсюду, где стояли аулы под минаретами своих мечетей — печальное и торжественное раздалось пение муэдзинов. Близился вечерний намаз, и служители пророка напоминали правоверным о том, что Аллах един и всемогущ, что славе его нет конца и предела. Сначала запел на минарете своём будун аула Салты. Из-за долины с следующей мечети отозвался ему муэдзин Кадаха. Не успел ещё печальный голос его всколыхнуть застоявшийся воздух, как с третьей вершины над Кара-Койсу откликнулся таким же заунывным напевом тамошний мулла. Аул был беден и не мог содержать будуна. Скоро каза-

лось, что все эти утёсы сами поют, славя всемогущество Господа. И когда напевы их погасили, точно растаяли в строгой тишине засыпающего Дагестана, — кругом была уже тьма, и в ней задумчиво сияли звёзды.

Не успел месяц ещё подняться над молчаливыми горами, как Селим выбил огонь из кремня, засветил фитиль в плошке с бараньим салом, при трепетном блеске его отыскал кинжал, пистолеты, подтянул серебром отделанный пояс и, взбросив папаху на голову, беззаботно двинулся вверх на площадь джамаата.

Туда собрался уже почти весь аул.

Посреди ярко горели костры. Зарево их багровело на стенах мечети и саклей. Минарет пропал в темени, но на кровлях всюду закутанные в белое лезгинки казались фантомами, родившимися во мраке и осуждёнными в нём же и рассеяться. Вода в бассейне от красного блеска костра алела кровью, и тонкие струйки этой крови струились оттуда по узеньким канавкам, исчезая в чёрных трещинах улиц.

У костров толпился народ.

С папахами на затылках, опираясь на рукояти кинжалов, молодёжь салтинская прислушивалась к рассказам стариков о далёком времени, когда их очи сверкали ещё по-соколиному, а в руках не иссякала сила.

Кое-где сказочники тешили народ преданиями о богатырях; и порою шёпот удивления бежал оттуда, когда импровизатор сосредоточивал эффект на слишком невероятном подвиге. То и дело, из окрестного мрака вырисовывались зловещие фигуры вновь приезжавших горцев. Салты давали праздник на всю окрестность; с ближайших вершин тянулись сюда джигиты, зная, что сегодня каждому здесь будет вволю айрану и бузы, и, как гостю, непременно достанется баранья лопатка. Кое-где трепетали уже струны, и тихие напевы неслись к меланхолическим звёздам дагестанского неба, У одного из костров сидели кабардинский князь и Джансеид, жадно слушавший рассказы молодого удальца, которого знала и Чечня, и Авария за первого бойца и беспощадного врага русских. Он передавал, как ему удалось бежать из плена, изрубив часового и украв у коменданта крепости его

лучшего коня. От слов его, дышавших дикой волею и разгулом, слушатели разгорались жаждою боевых впечатлений. Казалось, это горный орёл кричит с высоты скалы, созывая других на добычу. И как он преображался, вспоминая недавние битвы. Глаза его загорались острым блеском; грудь подымалась высоко-высоко; он порою вскакивал, точно ему было тесно в этом кружке внимательных слушателей. У кого-то в руках оказалась трёхструнная лезгинская балалайка. Когда Хатхуа смолк, — тот заперебирал струны. Лезгины страстно любят песню, и у костра все замолкли, следуя за нервно трепетавшею ригурнелью. В холодеющем воздухе южной ночи ни одного звука не пропадало, мелодия струилась в её мрак и наполняла его неутолимою жаждою чего-то. Чего? Едва ли кто-нибудь здесь мог бы сказать об этом. Жизни, подвига, счастья! Всех манило за этим напевом. Скоро вместе с ним, сплетаясь и расплетаясь, зазвучал тихий голос игравшего. Каждая строка его песни млела, тянулась и умирала, и вместе с нею словно что-то рвалось в груди у слушавшего. Кабардинский князь кинул бурку к

огню и, растянувшись на ней, внимал молча.

*«Каждое утро по улице красиво
идёшь ты.*

Хороша!

*Красиво надеваешь алый шёлк
поверх зелёного.*

Хороша!

*На тонком стане твоём золо-
той пояс с эмалью.*

Хороша!

*На выкрашенных хною руках зо-
лотые браслеты.*

Хороша!

*Каждое утро разбрасываешь
кудри.*

Хороша!»

Оборвав разом, певец передал балалайку соседу. Тот долго перебирал её струны. Напев их делался всё жалобнее. От соседних костров собралось сюда много народа. Джансеид славился как хороший певец и, узнав, что он будет петь тоже, гости, съехавшиеся в Салты, приблизились к этому кружку и слушали, не слезая с коней. Пламя костра бросало на их суровые лица свой зловецкий отсвет. Прежде чем Джансеид начал песню, с одной из кро-

вель послышался тихий женский голос:

*«Вышла я утром на кровлю,
Гляжу я кругом и сквозь слёзы
Вижу, как брат мой далеко
Едет, спускаясь в ущелье».*

Джансеид узнал голос Селтанет. Он улыбнулся и, уже забыв, что его слушают посторонние, запел с теми модуляциями, с тою дрожью голоса, которая присуща восточной песне и придаёт ей столько задумчивости в тихие ночи на улицах горных аулов или в благоуханных садах долин, нежащихся в сладкой дрёме.

Джансеид кончил под общий гул одобрения.

— Твоя очередь, князь. Хочешь не хочешь, — должен петь, таков наш обычай.

И Джансеид передал балалайку Хатхуа.

Князь отбросил её с пренебрежением и крикнул:

— Эй, Амет!

Нукер вышел из толпы.

— Принеси мне мою садзу.

— Она здесь, господин.

— Дай мне.

Пятиструнная садза была отделана золотом и серебром. Джансеид залюбовался ею.

— Откуда ты достал такую?

— Турки возят к нам. Я на русскую пленницу выменял. Нравится тебе?

— Да, я ещё не видал таких.

— Значит, она твоя. Кончу песню, и бери её.

— Господин, что ты! Для меня это слишком дорогой подарок.

Князь Хатхуа засмеялся.

— Теперь уж поздно. У нас в Кабарде свои обычаи. Что друг похвалит, то и отдай ему. Садза твоя, Джансеид. Только выучись играть на ней настоящие песни. Вот у нас в Кабарде как поют.

Он смело ударил по струнам. Они точно крикнули, и в их звуке почувался отзыв неукротимой души. Кабардинский князь гордо оглянулся на всех и громко запел:

*«Острый меч, рази верней!
Я смеюся встречной пуле!
Кто, скажите, всех смелей,
Веселее всех в ауле?
Это я! С дороги прочь!»*

*В вражьем стане у соседа
Не меня ли в эту ночь
Пуля ждёт или победа, —
В сечу дружину свою,
Повея по самой круче,
Буду виден я в бою
Яркой молнией в туче.
Смерть врагу! С дороги прочь!»*

Веянием бури неслась песнь по джамаату. В душах молодых лезгин вспыхивало боевое одушевление; они невольно хватались за кинжалы и вскрикивали вместе с Хатхуа, бросая кому-то вызовы, точно в потёмках, окружавших площадь, таился близкий враг. Глаза их разгорались. «Смерть ему!» «С дороги прочь!» отозвалось в каждом сердце, и когда кабардинский князь допел, после него никто уже не решался дотронуться до струн. Всякая иная песня показалась бы бледною перед этой. Селим был уже около Джансеида; они вместе дрожали от нетерпеливого желания сразиться скорей и вернуться в родной аул в ореоле славных подвигов. Скоро все смолкли вокруг костра. Люди смотрели в огонь, будучи ещё не в силах пережить впечатление, наве-

янное на них песней. Только громко трещали сухие ветки, разбрасывая тысячи искр в прохладную темень безмолвной ночи; точно золотые змеи пробегали в огнистых кучах угля, чьи-то кроваво-пламенные глаза и раскрывались, и смыкались там. Молчали лезгины, молчали женщины на кровлях, мысленно повторяя про себя строфы молодого джигита, молчали всадники, ещё окружавшие сидевших у огня. Лошади их похрапывали, нетерпеливо скребли копытами о камень и, помахивая головой, громко звенели отделанными в серебро поводками. Последний крик муэдзина, меланхолический и протяжный, замер над мечетью. Скоро певший будун сошёл с минарета и присоединился к костру.

Скоро со всех сторон из окружающих площадей саклей показались слуги и женщины, неся на головах, громадные металлические подносы с целыми горами варёного риса, прося и жареного мяса. Все, начиная с будуна и кончая последним байгушем, встрепенулись. Приезжим гостям очистили место, и за плов принялись просто пальцами. Для мяса у кинжалов есть маленькие ножики, и у каждого в

руках оказался такой. Горцы едят быстро и немного. Аппетиты были удовлетворены раньше, чем золотой рог луны зашёл за чёрный минарет, и в кружках у костров показались большие чашки айрана и кувшины с бузою. Бузу каждый отпивал сколько хотел и передавал соседу со словами: «Да благословит Аллах»; тот отвечал: «Да возвеличится твоя душа». Когда дошла очередь до будуна, он посмотрел, и оказалось, что ещё полкувшина полно опьяняющим напитком. С лукавою улыбкою над смеявшимися джигитами, он долго держал устье кувшина у рта и, когда отвалился, вздохнув, проговорил соседу:

— Да будет твоя жизнь полна, как был этот кувшин, — и передал ему.

Горец припал, но с изумлением тотчас же отодвинул от себя кувшин и обернул его над огнём. Несколько капель зашипело, падая в полымя.

— Ай, да будун!.. Ай, да брюхо! Это он большой котёл муллы в живот себе вставил.

Но будун уже не обращал на них никакого внимания и, что-то напевая себе под нос, бессмысленно смотрел в костёр.

Восток уже светлел. Туманы над ущельями и долинами белели. Тускло пламя костров; румяным венцом вспыхнула короновавшая весь Дагестан гора Шайтан-Даг. Женщин не было на кровлях. Звёзды пропадали, и ночная темень неба точно блекла над утёсами аула. Тихо привстали горцы от костра. Лезгины из других горных гнёзд вскочили на лошадей и лихо во весь карьер понеслись по ступеням крутых улиц. Только искры сыпались из-под копыт. Вскакивая на сёдла, джигиты стреляли на воздух, с диким гиканьем подвёртывались под брюхо коням и оттуда опять посылали пули в высоко подкидываемые папахи. Сверху Хатхуа, Джансеид и Селим с другой молодёжью любовались джигитовкой всадников и кричали им:

— До вечера!

А вечером было назначено выступать в набег на русских.

Скоро стук копыт и трескотня выстрелов умолкли внизу. Однообразный туман точно проглотил всадников и, когда Джансеид вернулся в свою саклю и снял с себя кинжал, чтобы улечься на несколько часов до второго на-

маза, — вершины утёсов уже горели, а по всему небу бежали огнистые волны утренней зари, и в старой чинаре, у мечети, проснулись и запели тысячи птиц.

Будун так напился бузой и устал, что проспал свой намаз. Весь аул был теперь погружён в глубокую тишину, и только кошки бегали по его плоским кровлям да собаки, лёжа на холодных и влажных от раннего тумана камнях, тьявкали неведомо зачем.

1902